



И. С. ЛУКАШ



Иван Лукаш

Бедная любовь Мусоргского

«Public Domain»

1936

Лукаш И. С.

Бедная любовь Мусоргского / И. С. Лукаш — «Public Domain»,
1936

«...Пожелтевшая записка 1883 года, найденная в бумагах петербургского художника с приколотой газетной заметкой об одной из «арфянок», уличных певиц, бродивших в те времена по питерским трактирам, – вот что в основе этой книги. Это не описание жизни Мусоргского, а роман о нем, – предание, легенда, – но легенда, освещающая, может быть, тайну его странной и страшной жизни...»

Содержание

Пожелтевшая записка	5
Госпиталь	6
Лиза	11
Метель	16
Песня	20
Ночь	24
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Иван Лукаш

Бедная любовь Мусоргского

Пожелтевшая записка

Пожелтевшая записка 1883 года, найденная в бумагах петербургского художника с приколотой газетной заметкой об одной из «арфянок», уличных певиц, бродивших в те времена по питерским трактирам, – вот что в основе этой книги.

Это не описание жизни Мусоргского, а роман о нем, – предание, легенда, – но легенда, освещающая, может быть, тайну его странной и страшной жизни.

Иван Лукаш

Госпиталь

Молодой офицер в расстегнутом темном мундире, с полотенцем, перекинутым на руку, тихо шел коридором военного госпиталя.

Ночное молчание, полное тупого напряжения, горячечных бормотаний за белыми дверьми, затаившаяся госпитальная тишина, в любую минуту готовая прорваться воплем страдания, делала походку молодого офицера особенно осторожной и чуткой.

Он двигался неслышно по плитам коридора, точно желал стать бесплотным в этой темноте, накаленной страданием.

Никаких случайностей – «происшествий» на казенном языке – ночное дежурство не обещало, и офицер, умывшись, собирался устроиться на ночлег в дежурной комнате на жестком и плоском, как черный скелет, диване.

Он вошел в дежурную без шума, прикрыл за собою высокие двери. В комнате горел газовый рожок. Фуражка и сабля висели на спинке промятого кресла красного дерева, там же была брошена гвардейская светлая шинель.

Другой газовый рожок горел у смутного, поцарапанного зеркала. Перед зеркалом офицер стал оправлять белокурые волосы, влажные от мытья, молодым, сильным движением он откидывал вьющиеся пряди со лба.

При туманном свете рожка ему странно понравилось в зеркале его лицо, хотя обычно, почитая себя уродом, рожей, он заглядывал в зеркало только по крайней необходимости.

Теперь лицо показалось ему как бы чужим, нежным и удивительно привлекательным.

Это было приятное и свежее русское лицо, без резких черт, слегка туманное, такое лицо, где нет запоминающихся подробностей, но все необыкновенно привлекательно мягкой простотой. Хорош был широкий, светлый лоб, а лучше всего было сочетание серых глаз с белокурой головой.

Он легонько насвистывал, разглядывая себя с любопытством, и его серые глаза внимательно и строго так следили из зеркальной мути, как бы намечался перед ним в глубине иной человек, не он, а другое непонятное и странное существо в темном офицерском мундире, с круглыми эполетами в мерцающей позолоте, с лицом таинственным и прекрасным.

Вдруг кто-то покашлял за спиной.

Офицер неприятно поежился и обернулся с неприязнью, точно был застигнут за таким кровавым, чего не должен подсматривать никто.

На подоконнике полукруглого казенного окна сидел тот, кого офицер не заметил, когда вошел в дежурную. Это был молодой человек в сюртуке военного медика. Закинув ногу на ногу, он покачивал ногой, обтянутой узкой штаниной на штрипке.

– Извините, что я покашлял. Я нарочно, чтобы обратить внимание, – сказал незнакомец, потирая маленькие белые руки. – Но не правда ли, вы насвистывали Шуберта?

– Шуберта, – подтвердил офицер с небрежной досадой.

– Опус 77, не правда ли, номер пятый?

– Пятый.

– Я очень люблю эту фразу у Шуберта. Только вы там, в переходике, извините, подвираете.

– Я не подвиржаю, а нарочно. Ищу другого перехода.

– Как так?

– А так. Ведь Шуберт что сделал в пятом номере? Он услышал на улице, где-нибудь в подворотне, венскую гармонику, и какой-то неуловимый ее переход, неожиданная волна дыхания, дали ему, можно сказать, тему для целой симфонии в две строки.

– Очень хорошо-с, симфония в две строки...

При этом медик спрыгнул с подоконника, четко постучал каблучками.

Это был сухонький молодой человек с бледным лицом и остреньким носом, черноволосый, с белыми ручками, которые он быстро, как-то по-кошачьи, потирал. На нем был опрятный сюртук, его мягкие сапожки были начищены, блестела серебряная цепочка часов с ключиком на его черном глухом жилете, с крошечными пуговками. «Немчик, поди», – подумал офицер.

– Разрешите представиться, – вежливо сказал медик. – Дежурный лекарь Бородин, Александр Порфирьевич Бородин.

– А я думал, вы из немцев, – усмехнулся офицер, подавая ему руку. – Я тоже дежурный по госпиталю, гвардии Преображенского Мусоргский Модест, по батюшке Петрович.

– Модест, редкое имя... По-французски – скромный. Маленькая рука медика заледенила на мгновение большую теплую руку Мусоргского.

Неожиданный ночной компаньон не понравился ему. Мусоргский думал, что умеет чувствовать, определять людей с первого взгляда. Военный лекарь, с его опрятным холодком, показался сухарем и педантом.

– Понимаете, – сказал Мусоргский небрежно, – я не подвираю, а ищу в музыкальной строке Шуберта нашего русского перехода.

– Но стоит ли немецкую тему ломать на русский лад?

– Стоит. Тоска в ней по какой-то святыне, печаль необыкновенная, вздох этот для всех людей одинаков, что русские, что немцы...

– Очень хорошо. Я согласен, вы любите музыку.

– Люблю. И мне обидно, когда о ней толкуют люди... Он хотел сказать с сердцем «люди, ни черта в ней не смыслящие», но спохватился:

– ... без достаточных оснований. Маленький медик тонко улыбнулся:

– Я вас понимаю. Я тоже люблю музыку. И Шуберта. Я его очень знаю. Вы прекрасно сказали, что его «Своеобразные танцы», не правда ли, так можно перевести его заметки из записной книжки, истинные симфонии в две строки... И потом, видите ли, я сам...

Голос медика застенчиво осекся, стал неуверенным, он со смущением потер руки:

– Я тоже пишу музыку.

Мусоргский посмотрел на него сбоку, с тем же смущением потер руки и сказал с застенчивостью:

– Вот случай, какое совпадение... Кто бы мог думать: какой-то офицер и, простите, какой-то медик...

– Пожалуйста, пожалуйста, – лекарь весело закивал головой.

– Встретятся на ночном дежурстве в солдатском госпитале, и оба окажутся музыкантами. Вообще это так редко, так не принято говорить о музыке, гонимо, смешно... Кому у нас надобна музыка... У нас музыка – только барская блажь... Но знаете, ведь я тоже музыкой грешен: пишу...

После нечаянного взаимного признания молодые люди мгновение говорили вместе. Откровенность сблизила их, уже не дежурный лекарь, черноволосый, в опрятном военном сюртучке, и не дежурный офицер с влажной белокурой головой, чужие друг другу, стояли у замерзшего казенного окна, а два близких человека, – как два заговорщика, – понимающие все с полуслова.

Не особенно хорошо, слушая друг друга, они говорили о Шуберте и его «Немецких танцах», какие недавно оба читали. Потом о «Рождественских рассказах» Шумана, с вечной встречей двух их героев: Воина и Мечтателя, причем Мусоргский весело подумал: «Я, конечно, Воин, а этот лекарек, привидение из потемок, конечно, Мечтатель»; они поспорили о Бетховене, не поняли друг друга, что именно хотели сказать, и снова о глубокой и мягкой гармонии Шуберта.

Со стороны могло казаться, что у огромного окна, за которым сияла морозная ночь, стоят, размахивая руками в торопливом бреду, два умалишенных. Они так много хотели сказать, особенно Мусоргский, что все их слова были невняты и они сами не понимали ясно, что именно говорят. В путаной, горячей речи они точно жаждали опередить самих себя, точно хотели родить то духовное существо, какое только еще брезжило в них, какое еще будет когда-нибудь или не будет вовсе.

Лицо Мусоргского горело. Бородин иногда смеялся нервным смешком с прозрачным прохладным звуком. Мусоргский с восхищением смотрел на маленького медика, уже считал его замечательнейшим музыкантом, тончайшим человеком.

– Посмотрите, какая ночь, – в мгновение молчания сказал Бородин. – Я до вас сидел у окна и смотрел. Только в Петербурге бывают, по-моему, такие ночи... Какое морозное величие, бесконечное холодное сияние, и этот зеленоватый лунный дым, проходящий, как стада видений...

Они умолкли.

За госпитальным двором тянулись низкие корпуса казарм, на крышах светился снег. Как будто в звучащей немоте застыла колоннада, фронтон, а дальше, над белым океаном крыш, где бродил дым стужи, страшно и тайно сияло зеленоватое ледяное небо.

– Замечательно, – сказал Мусоргский. – Вот ночь. Вся звучит. О чем же, о чем непонятный язык этой обмерзшей немоты, величия?

– Не знаю, но тоже слышу, – прошептал Бородин. – И, кажется, вот-вот догадаюсь, о чем... Никогда и никому не догадаться... Это и есть музыка.

– Музыка? Я, доктор, во всем, всегда слышу музыку, и мне кажется, что со мной должно случиться что-то необыкновенно прекрасное... И в этой ночи, и в нас двоих, и как сияет снег, и что у вас там в палате умирающий солдат стонет, – все это, весь мир, люди, все живое и мертвое – одна музыка... И если бы узнать ее тайное значение...

– Зачем знать, все прекрасно и так... Однако какой у вас приподнятый поэтический тон. Маленький медик позвенел серебряной цепочкой часов, щелкнул крышкой:

– Вот видите, вашей тирадой о солдате вы напомнили мне долг дежурного лекаря в военном госпитале. Мне пора на ночной обход.

– Я с вами...

Мусоргский с пылающим лицом желал в ребяческом порыве что-то высказать лекарю, чего толком не знал сам.

– Извольте, пойдем, сначала к горячечным, потом к венерикам, – ответил Бородин, застегивая все медные пуговицы медицинского сюртука.

Во втором военном сухопутном госпитале, как и во всех госпиталях, стены поверху были выбелены, а понизу покрашены серой краской. Стекла окон внизу тоже были забелены.

В палатах, где на железных койках под темными одеялами лежали люди, было только два угрюмых цвета – темно-серый и белесоватый, точно они были цветами самой смерти.

В той палате, куда вошел с медиком Мусоргский, в углу была растоплена громадная кафельная печь, на железной полосе у печи дрожали красноватые отсветы. В палате, в духоте, пахло нагретым железом и больным человеческим телом, сухо и горько. В другом конце, за рядами коек, горел у медицинского шкафа над столом, фонарь, тоже разогретый, душный.

Одни больные лежали вытянувшись, с головами под суровыми холщовыми простынями. Они показались Мусоргскому покойниками: они спали. У других были развязаны на груди тесемки солдатских посконных рубах, они быстро стонали, бредили.

Мусоргский невольно остановился у койки рослого солдата. Его исхудавшие, большие, темные руки лежали на белой простыне, запавшие глаза были крепко зажаты. Это был костлявый пожилой солдат с лысеющим лбом, красивый, горбоносый, похожий на императора Николая Павловича. Пожилой солдат твердил, не умолкая, затаенно, с мягкой укоризной:

– Эх, Маша, как же так, Маша...

Только это было внятными в его раскаленных, непрерывных бормотаниях.

В самом конце палаты с койки приподнялся, внезапно вострепнувшись, молодой солдат, сказал отчетливо, с какой-то жалобной торопливостью:

– Здравия желаю, ваше высокоблагородие.

Мусоргский дрогнул. Глаза молодого жарко светились, темные волосы были спутаны, влажны.

– Он не вам, он бредит, – прошептал медик.

Они подошли к столу.

Лазаретный служитель в шинели, накинутой на холщовую рубаху, в подштанниках, вскочил со скамьи под фонарем.

У служителя было нерусское сухое лицо, мохнатые седые брови, небритый подбородок. По его цокающему шепоту Мусоргский понял, что старик из поляков. От служителя тяжело несло старческой кислятиной, теплой водкой и табаком. Бородин, нагнувшись, начал что-то помечать пером на листках, Мусоргский с нескрываемым страхом, недоумением обводил взглядом палату, стол с ободранной промокательной бумагой в чернильных кляксах, большой календарь на серой стене «генварь 1856 года», черноволосую склоненную голову медика, спину старика-служителя, фонарь, – и все казалось ему значительным, необыкновенным.

То, что он говорил горячо и плавно о музыке, в чем убеждал медика и себя, теперь казалось Мусоргскому ненужным и стыдным. Ничтожным стало все перед этими железными койками, серыми стенами, коротким, душным, едва слышным человеческим дыханием, перед разогретой, нещадной, железной смертью.

Молодой офицер побледнел. Ему стало тошно в натопленной палате.

Когда они шли назад между коек, костлявый солдат, похожий на императора Николая Первого, сцепивши темные руки на простыне, все бормотал затаенно и укоризненно:

– Маша, эх, Маша, чего же ты, Маша...

– Кандидат, – прошептал Бородин, кивнув на костлявого.

Мусоргский не понял:

– Кандидат?

– Да. В мертвецкую.

Теперь Мусоргскому казалось, что в палате слышен один тугой звук, как будто натянутой, горячей струны. Струна вибрировала невыносимо.

В коридоре, где было прохладнее, Бородин что-то спросил об оперном театре, Мусоргский не ответил.

С молодой впечатлительностью он думал теперь, что палата, откуда они только что вышли, и есть настоящее, а не их ничтожная болтовня.

Мусоргскому еще не было двадцати. После закрытого дворянского пансиона и школы гвардейских прапорщиков он только что вышел в полк офицером. Молодой барич, сын помещика, он был, как дорогой цветок, выращенный в теплице. И как в тепличном цветке, в нем было что-то нежное, слабое, чему не выдержать первой же непогоды. Приветливое изящество и французская речь, с особой парижской картавостью, были, кажется, самым главным в его воспитании: прежде всего быть человеком своего круга, гвардейским офицером, хотя на это и недостает денег, уметь носить мундир и ловко и тонко обращаться с людьми, особенно с женщинами в гостиных, а потом уже, где-то на втором плане, все другое, неважное: музыка, какой он увлекся еще в дворянском пансионе, весь этот странный человеческий мир и сама его человеческая душа.

Чувство жалости и вины, глубокое, захватывающее, всегда томило Мусоргского перед темным простонародьем, солдатами, каким-нибудь старичком-извозчиком, замерзшим на своих санках, перед пропившимися нищими в рваных шинелях, коченеющими под дождем,

мокрым снегом, переступающими с ноги на ногу в размокших башмаках, перед шарманщиком или мальчишкой из мелочной лавки с отмороженными руками и двумя синими пятаками, выеденными на щеках морозом, перед всеми чужими, непонятными, темными людьми с улицы, жильцами углов и подвалов, перед теми, кто копошился, как-то жил, любил, бедствовал, радовался, спивался или скопидомничал, перед той человеческой чернью, какую он, Мусоргский, не знал, трудно понимал, в душе всегда страшился и называл, как у Иова, людьми без имени, отребьем земли.

Он чувствовал себя виноватым перед ними за то, что он не такой, что у него пусть бедная, но все же теплая квартирка на Обводном, денщик Анисим, что вот он офицер, барин, а другой человек, совершенно такой же, как и он, и лучше, и достойнее его, канючит у него копейку, поджимая замерзшие ноги в опорках.

Этого он не понимал и не принимал в жизни, это оскорбляло, пугало его, точно он один был виноват перед отверженными за всю жизнь, несправедливую, не поддающуюся им.

Ему стало нестерпимо стыдно за всех: за Бога и за Россию, за царя, за блестящих и парадных господ, за себя и за маленького медика, за то, что они только что глупо болтали о музыке, – стыдно стало, что никто никогда уже не узнает, какая такая душа чего-то ждала и о чем-то тосковала у того красивого гренадера, великана парадов, звенящей военной куклы в медном кивере и белых лосинах, умирающего на лазаретной койке с горячим бредом о какой-то Маше.

Бородин с удивлением посматривал на собеседника, ставшего вдруг рассеянным и подавленным. К венерикам Мусоргский не пошел. В дежурной после обхода медик справился об общих петербургских знакомых. Он назвал фамилию Орфанти, куда был приглашен на музыкальный журфикс во вторник. Тогда только Мусоргский оживился. Оба они устраивались на плоских, как камень, казенных диванах. От имени Орфанти сердце Мусоргского стукнуло тревожно, он покраснел в потемках.

Откинувши шинель, которой было прикрывался, он сел на диван и сказал в темноту:

– Вы знакомы с Орфанти?

– Намедни нас познакомили.

– С Елизаветой Альбертовной?

– Нет, покуда только с ее батюшкой, Альбертом Ивановичем... Говорят, музыкальное семейство. Музицируют.

– Да, музицируют, – ответил Мусоргский, снова ложась и накрываясь шинелью. Но от имени Лизы заньло сердце.

Бородин вдруг приятно, прохладно посмеялся в темноте.

– Вы чего? – тихо позвал Мусоргский.

– Этот Орфанти из итальянцев. У него голова старого гениального артиста, а торгует, кажется, всю жизнь салом и пенькой. И как это скучно, серо выходит по-русски: Альберт Иванович. Нелепо. А по-итальянски звучит, как литавры: Альбертино Джиованни Орфанти.

Медик как бы прочел в потемках мысли Мусоргского. Отчество Лизы, именно отчество, всегда как-то томило его, казалось нелепым и холодно-смешным: точно Алебастровна.

– Вы правы, – минут через десять сказал Мусоргский, приподнимаясь на локте.

Медик не ответил, может быть, спал.

Лиза

Конечно, о музыке думают меньше всего, она самое неважное, что есть в настоящей жизни. Что может быть нелепее, чем музыкант, не военный трубач, капельмейстер или тапер для танцев, а музыкант, сочиняющий что-то.

Все это верно. И все-таки музыка гнездится всюду. В каждой человеческой душе всегда поет что-то, зовет, и как часто в домах сверху донизу смутно роится и звенит музыка: на чердаке – тромбонист, где-то – рояль, пониже – худосочный мальчишка в матроске с безнадежными, как осеннее небо, экзерсисами на скрипке. В подвале поет прачка, в дворницкой дворник пиликает на гармошке.

Он пиликает в сумерках часами, невыносимо, всего две-три ноты, но именно в этом и есть подлинная музыка, музыканту так и надо отдаваться до самозабвения, до тихого исступления, раз уловленному ритму.

Мусоргский на проспекте крепче закутался в шинель, пробормотал с усмешкой:

– Здорово, до дворницкой добрался...

Зимний вечер, стылый и темный, был неуютен. В тумане тяжело, точно загнанные, дышали извозчичьи лошади. Со взморья ледяными порывами поднялся низкий северный ветер. Звонили к вечерне, ветер разносил пустынный, как бы стынущий звон.

Музыка гнездилась, как думал Мусоргский, и в богатой квартире владельца экспортной конторы на Васильевском острове, Альберта Ивановича Орфанти.

Орфанти был не итальянцем, а южным австрийцем. Его крупная голова, седая, пышно-волосая, была, можно сказать, величественна, внушали уважение его белые баки и холеные крупные руки, перебиравшие на бархатном жилете брелоки и печатки золотой цепочки. По виду он был артист и министр вместе, на деле же разбогатевший иностранный негодичант. Говорил он с немного сладким акцентом.

В его дочери смешалась русская, австрийская и, может быть, итальянская кровь, и такое сочетание создало существо удивительной красоты.

Эта девушка во всех движениях, в том, как наклоняла голову, как садилась, распуская с приятным тихим шумом шелковый кринолин, как шла, как смотрела спокойно и чисто глазами, полными света, напоминала Мусоргскому Мадонну. Он ее так и называл «Мадонна Орфанти». Нечто холодно-бесстрастное, глубоко-затаенное, утихшее было в красоте Лизы. На ее девичьей груди дрожал изумрудный католический крестик.

Мусоргский думал, что любит Елизавету Альбертовну безумно и навеки. Уже несколько недель он думал так с наивным восхищением.

Но иногда шевелилась в нем недоверчивая тоска. Иногда ему казалось, что он только убеждает себя, что любит Елизавету Альбертовну, а по-настоящему все холодно в нем, немо, и тягостную скуку чувствует он около этой девушки.

Ее спокойные движения, сияющие глаза, и то, что ей нравятся музыканты, каких недолюбливал он, блестящие и шумные итальянцы, вкрадчивый Шопен или Лист, похожий на миллионы разбитых осколков, на стекляшки с их бездушными сверканиями, – иногда все казалось ему в Лизе равнодушной красотой мраморной и скучной Мадонны.

Но кроме такого Листа, такого Шопена, – концертных, – как он иронически называл их, был Лист си-минорной сонаты, оратории Святой Елизаветы, и был Шопен баллад. И это было так же прекрасно, как инвенции Баха, как могущественное звучание токкаты или фантастическая симфония Берлиоза. «Это он сам, – думал Мусоргский, – такой бездарный, у него такая глухая, смутная судьба, что он не слышит в Лизе Орфанти музыку Святой Елизаветы...»

Сомнения мучили Мусоргского, он чувствовал себя несчастным и негодяем, особенно когда приходилось вежливо поддакивать Альберту Ивановичу, слушая его вздорные, самоуверенные рассуждения о театре, композиторах, Парижской опере.

Орфанти, перебирая великолепной рукой золотые брелоки на жилете, говорил действительно вздор. Он завел в доме музыку и вечера с музыкантами по одному уважению к памяти покойной жены, русской, Марии Владимировны.

Орфанти был занят коммерческими делами, вывозом пеньки и льна, кораблями, он всегда был озабочен тем, чтобы в его доме все было на самую лучшую европейскую ногу, сыто и тепло, покойно, удобно, красиво, чтобы дочь могла выезжать каждый год за границу, чтобы его дочерью могли любоваться такие же сдержанные и полные достоинства иностранные купцы, как он, а кроме того, – единственно настоящего и единственно важного в жизни, – он не прочь был раз в неделю, с хорошей сигарой, послушать игру Лизхен, конечно, необыкновенную, конечно, замечательную, и заодно всех этих молодых русских господ, бедняков-медиков, мнящих себя великими музыкантами. Такие же вечера с музыкой, как был уверен Орфанти, устраивала бы Мария Владимировна. Когда-то добродушный Альберт Иванович в потемках, из глубины удобного кресла, забывши о сигаре, на которой нахлобился ворох душистого тлеющего пепла, любовался женой. Она чаще всего играла Бетховена, точно молилась. Так же, из глубины кресла, с сигарой между красивыми крупными пальцами, слушал теперь Альберт Иванович игру дочери.

Мусоргскому иногда казалось, что в неторопливых и великолепных движениях Альберта Ивановича есть к нему равнодушное презрение и презрительное подозрение. Как будто богатый коммерсант уже оценил Мусоргского, что вот-де молодой офицеришка, петербургская голь из школы гвардейских прапорщиков, подбирается к его Лизхен, чтобы устроиться на ее денешках и бездельничать со своей музыкой.

Мусоргского это мучило, бесило, но больше всего мучили Мусоргского тягостные сомнения в любви к Лизе.

Точно холодное пятно тумана застилало душу. А вдруг он не любит, а только рассуждает о любви, так же бездарно и бессильно, как не живет по-настоящему, а только рассуждает о жизни, истине, музыке. На деле, может быть, все так и есть, как подозревает ее величавый папаша; петербургский офицеришка, подбитый ветром, просто хочет выбраться на денешки Орфанти в сытое, любующееся собой довольство.

«А может, я и правда самый ничтожный, самый подлый подлец, какой только есть на свете...»

С растерянной улыбкой Мусоргский даже остановился на мгновение. Нет, он любит Лизу, как ни один человек на свете не любил девушку, и он создаст для нее прекрасную жизнь, необыкновенную.

Правда, вот только в двух комнатах на Обводном канале, на заднем дворе, с одной черной лестницей, с Елизаветой Альбертовной жить нельзя никак. Надо будет, стало быть, искать модную квартиру, потом прислугу, чего доброго, этакого лакея в белых перчатках, обстановку.

От самых слов «квартира», «обстановка», «прислуга» ему делалось неловко и скучно, точно он взваливал на себя пыльную тяжесть. И потом, чего он рассуждает, чего копаются в душе, ведь они толком слова не сказали друг другу о своих чувствах. Верно, не сказали, но все равно он чувствует, что кругом все уже почитают их чем-то связанными, смотрят на них так, точно между ними какая-то тайна или что-то такое не вовсе ловкое, о чем лучше до поры до времени помолчать.

А виновата во всем Людмила Ивановна Шестакова.

Младшая сестра Глинки, Людмила Ивановна, пожилая, вечно в темной турецкой шали и шелковой лиловой кофточке со стеклянными пуговками, казалась ему светящейся живой

частицей самого Глинки, прекрасного музыканта, трогательного и гармонического. Даже в самом имени Глинки было что-то трогательное, как «Иже херувимская» к концу обедни.

Людмила Ивановна, ласковая, немного глуховатая, с молочно-голубыми глазами, какие, вероятно, были и у ее брата, с крошечными, бескровно-белыми и робкими руками в голубых жилках, тоже, вероятно, как у брата, была для молодого Преображенского офицера, помешанного на музыке, как бы живой святыней.

Это Людмила Ивановна ввела его в дом Орфанти, это она со своими стеклярусами и турецкими шалями, как самая обыкновенная мещанская сваха с Песков, помогала их игре в четыре руки при свечах, оставляя их вдвоем в гостиной, именно она создала вокруг него и Лизы воздух тайны, чего-то скрытого до поры и неловкого.

Продрогший Мусоргский шел уже по Василеостровскому проспекту. Мерцали кое-где потускневшие от стужи фонари.

Звон ко всенощной от Андрея Первозванного гудел пусто и холодно, как неуклюжие полые шары. Мусоргский кусал губы и злился на весь свет, на сестру Глинки, и на старика Орфанти, и больше всех на себя. Надо вернуться домой, написать Лизе о своих сомнениях, о пятне тумана.

Но он не вернется, куда ему, вот уже их крыльцо, панель, как обычно, посыпана хрустящим красным песком, и он ничего не скажет Лизе, он – подлец, трус. И свершится то неминуемое, невыносимо скучное: женитьба, модная обстановка, покровительственный тесть.

А он всегда ждал, предчувствовал, что его жизнь будет необыкновенной, грозной, страшной. Что-то великое, сжигающее ждет его, чему он готов отдать себя.

Но будет, оказывается, богатая жена с алебастровым отчеством и с холодным, как сверкающие стекляшки, Листом.

Бледный, иззябший Мусоргский со злобой дернул звонок на подъезде Орфанти. Старая горничная, чопорная немка в белой наколке и в байковом платке, накинутом на плечи, отворила ему. Он вошел в теплую прихожую, где горели свечи у зеркальных щитков и знакомо пахло сытостью, теплыми духами, сигарами.

«Внял неба содроганье, горний ангелов полет» – путались, стучали стихи Пушкина, когда он отдавал немке офицерскую шинель. От стихов, пришедших на память, стало невыносимо печально, до того, что он растерянно остановился у вешалки, уже заваленной шубами и мохнатыми высокими цилиндрами. Так с ним-то, стало быть, никогда не будет, чтобы он услышал неба содроганье, горний ангелов полет. Что же такое он делает, зачем он приходит сюда, когда это вовсе не его жизнь, не его судьба, почему же он сам, слабовольный, ничтожный, отказывается от того, что предчувствовал еще в детстве?

Между тем, Мусоргский, совершенно бледный, с горячими серыми глазами, входил в гостиную, чувствуя себя самым несчастным человеком на свете. С рассеянной, жалобной улыбкой он излишне часто оправлял белокурые волосы и не замечал, с кем здороваются.

В гостиной было сегодня много народа. От сигарного дыма ему стало тошно. Какой-то англичанин с бодрым лицом сказал что-то приветливо и непонятно. Он молча пожал ему руку и вспомнил, что у Орфанти обещал быть сегодня тот маленький медик, с которым он болтал на ночном дежурстве. Он стал искать глазами медика в обширной гостиной.

Тихо шурша кринолином, к нему подошла Елизавета Альбертовна. Чистый и спокойный свет ее девичьих глаз на мгновение залил его. Он увидел сияющий лоб, продолговатое и точно освещенное изнутри лицо и снова залюбовался, восхищенный.

– Кого вы так ищете, Модест Петрович? – сказала Лиза, отнимая руку, которую он, любясь ею, задержал излишне долго в своей.

– Одного медика, военного лекаря Бородина, сказывал, будет у вас, – ответил Мусоргский, и подумал: «Как она удивительно хороша, как прекрасен воздух вокруг нее. Нет, я люблю ее. Господи, Ты все видишь, я люблю ее».

– Александр Порфирьевич был с извинением, – сказала Лиза. – Такая жалость, у него сегодня дежурство. Убежал.

– Досада, что убежал.

Мусоргский рассеянно сел к роялю.

– Правда, досада, – повторил он и вспомнил ночь, госпиталь, их нелепые, горячие речи, костлявого гренадера и пятый номер 77-го опуса Шуберта, подвинул поудобнее вертящийся черный стул и стал играть, вслушиваясь в мелодию Шуберта. «Как странно, – думал он, – вот здесь явно поет чардаш, но почему такая тоска, вот светлый хор, церковный орган, но почему же здесь туман вползает в покои, полные солнца и радости, – зловещий, слепой, – как странно, что же, наконец, значит это, о чем ты, милый, добрый человек рассказываешь, откройся мне, ради Бога».

Мусоргский видел перед собой светящееся, прекрасное лицо Лизы, оно стало как бы бесплотным, отошло в призрачный туман и удивительно сочеталось с тем, что он искал, что желал услышать где-то внутри, за самыми звуками Шуберта.

Лизе особенно казался трогательным белокурый молодой офицер именно в такие минуты, когда он, с посветлевшими глазами, со слегка разгоревшимся лицом, вслушивался во что-то свое за роялем и смотрел и на нее, и куда-то далеко, мимо нее, отчего слегка косил его левый глаз.

– Как странно все, – тихо сказал Мусоргский.

– Что странно? – наклонилась к нему Лиза, оправляя на рояле свечу.

– Все. Вся наша жизнь. И вот что Шуберт ослеп. Как странно.

– Разве Шуберт ослеп?

– Да.

– Правда. Странно и страшно. Я понимаю, о чем вы говорите.

В гостиной давно понизили голоса, слушая игру русского офицера. Потом Лизу поманил со своего кресла отец, Лиза отошла. Оказывается, на журфикс обещал приехать важный немец, известный благотворитель, миллионер из Риги, и отец добродушно и снисходительно попросил Лизу полюбезничать с ним.

Немец из Риги, большой, с одышкой, во фраке с белой грудью, опираясь на трость с тяжелым золотым набалдашником, уже входил в гостиную. Мусоргскому, умолкшему на мгновение, торопливо похлопали, не без опасения, как бы он не начал играть снова. От вежливых и торопливых хлопков Мусоргскому стало стыдно. Он встал.

– Метель на дворе, – бодро сказал кто-то.

«Вот это хорошо, метель, – подумал Мусоргский. – Хорошо, что Лиза отошла куда-то, точно исчезла, хорошо, что он совершенно один и никому здесь не нужен. Сейчас он уйдет незаметно, и это тоже хорошо. Он скажет правду Лизе, напишет ей».

Никем не замеченный, он вышел в прихожую, заваленную шубами. Туда доносило из гостиной смутный говор. Низкими поволоками стоял сигарный дым.

Мусоргский торопливо рылся, отыскивая шинель, он пристегивал саблю, когда в прихожую, шелестя шелком, вошла Лиза, она заметила его уход и, только отделалась от рижского патриарха, примчалась тревожная. Она сама была смущена своей решительностью:

– Почему вы уходите?

– Так надо, Елизавета Альбертовна, так лучше, разрешите, я вам напишу.

– Напишите, о чем? Постойте же, скажите, о чем вы хотите написать? И потом, разыгралась такая метель.

– Нет, нет, я пойду... Прощайте, я хочу сказать, до свидания. Простите меня.

Неожиданно он взял обе руки Лизы и на мгновение прижался к ним разгоряченным лицом.

Когда он ушел, недоумевающая девушка постояла у дверей. Ей очень хотелось открыть двери на лестницу, позвать: «Модест Петрович», она знала, что он вернулся бы к ней бегом, через две ступеньки.

В прихожую вошла тетка Лизы, худенькая, в круглых очках и в чепце, за двадцать лет научившаяся в России только двум-трем русским словам, какие все равно коверкала немилосердно.

– Детка моя, почему ты здесь? – позвала тетка по-немецки.

Лиза обернулась от дверей, поправила на груди изумрудный крестик и спокойно ответила, тоже по-немецки:

– Я, тетя, провожала господина Мусоргского...

Метель

На улице, у подъезда, снег с такой яростью кинулся Мусоргскому в лицо и спину, что он проворчал с досадой: «О, черт, куда я потащился, вот, правда, дурак», – и зашагал в глухо шумящую тьму.

«И с чего я нагородил Лизе вздору о Шуберте? – со стыдом подумал Мусоргский. – Что ослеп... Это я хотел так – трагически – вообразить свою собственную жизнь...»

Вихри снега, сталкиваясь, все стерли в колыханиях. Это была такая метель, когда не стало больше ни Петербурга, ни России, ни неба, ни земли. Ничего не стало на свете, только гудящие, огромные, движущиеся со всех сторон, падающие сероватые стены вьюги.

Снег слепил глаза, Мусоргский шел чутьем, как и другие прохожие, точно грузные привидения в тряске метели.

Он любил петербургские непогоды, когда был отделен летящим снегом от всего на свете.

Жизнь, впрочем, где-то кишела, прорывалась мутными проносющимися огнями, сиплым дыханием извозничьих лошадей, испугом натолкнувшегося прохожего. В шуме снега он думал, что жизнь, настоящее бытие – не слова, не речи и выдумки, а вот это кишение, бессловесное и бессмысленное, слепая возня вьюги.

Мусоргский любил такие мысли, они казались ему умными, верными. Потом тяжелый и высокий гул вьюги стал оглушать его.

Внизу от быстрого шелеста снега слышалось суровое шипенье, но наверху, во тьме, гул был строен. Могучий дальний звук повторялся с неумолимостью, не умолкая, высоко во тьме.

Мусоргский подумал, что там, впотьмах студеного неба, может быть, сотни верст с яростью мчатся вниз белые полчища, чтобы бить и крутить его здесь, на земле. И обычная февральская метель показалась ему страшной, грозной, как библейское пророчество.

Он шел, вслушиваясь в темный гул, и в свисте падающего снега, в тысяче приглушенных звуков стал слышать одну сильную мелодию, проносящуюся в мелькающей смуте.

Песня была так необыкновенна, прекрасна, грозна, что дрожь восторга проняла Мусоргского. Заваленный снегом, он шел, как слепец или пьяный, с закрытыми глазами, и его руки с подкорченными пальцами были выставлены вперед. Он шел, как слепой пророк, услышавший Божье откровение.

Песня, проносившаяся во тьме, потрясая его, вдруг стала близкой, как будто потеплела.

Он понял, что песню то относит вьюга, то она находит снова, и это поет грудной горячий женский голос, он точно обнял его, приник теплотой, удивительной прелестью, и он услышал звон арфы.

Пение и арфа были до того нечаянны, что Мусоргский снял фуражку, перекрестился.

Снег мгновенно покрыл волосы белой рыхлой шапкой. Он пошел наискось в сугробы, на мутный, как бы несущийся с метелью огонь.

Это был залепленный снегом фонарь на чугунной лапе, над железными перилами лестницы.

Фонарь освещал кусок стеклянной двери, занесенной снегом, и кусок вывески. В мчащемся мелькании Мусоргский разобрал на вывеске длинные дрожащие буквы: «Неаполь». Стеклянная дверь задрезжалась, затолкалась вбок, с паром, помутившим фонарь, вырвался трактирный гул, и на площадке лестницы показалось необыкновенное существо, как бы слегка горбатое, крутой тенью подымалось за ним сквозное крыло.

Крылатое существо, тихо звеня, стало сходить в глубокий снег по ступенькам.

На мгновение все показалось сном: арфа, метель, тьма, ресторация «Неаполь» и он без фуражки, у железных перил.

Перед ним стояла молодая женщина или девушка, худенькая, в короткой шубке и в платке, повязанном поверх шляпки. Он увидел сквозь косое мелькание ее тонкое остроносое лицо с темными, близко поставленными глазами, ее оренбургский платок, завязанный на груди крест-накрест узлом, и на маленькой руке нитяную перчатку с порванными пальцами.

Она стянула с плеча широкий ремень, поставила арфу с нестройным, печальным звоном в снег, выпрямилась.

– Это вы пели здесь? – резко окликнул Мусоргский, надевая фуражку.

Девушка посмотрела сумрачно.

– А то кто, само собой, я, – сказала она грудным голосом.

– Что вы пели, ради Бога?

– Да чего вы, господин военный... Разное пела... Было бы зайти в трактир да послушать.

На ее усталом лице едва дрогнула та манящая, заискивающая и равнодушная улыбка, с какой уличные женщины говорят с прохожими. Тревожная и сладостная жалость к девушке тронула Мусоргского.

Арфянка сквозь снег пригляделась к нему, оправила на груди платок:

– В такой непогоде извозчика не сыщешь, все по трактирам сидят. А мне надо музыку мою волочить.

– Позвольте вам помочь, – с порывом сказал Мусоргский.

– Зачем, не надо.

Но он уже потянул к себе холодный ремень арфы, закинув ее за плечо. Позвенели струны.

– Пойдемте, – сказал он, – где-нибудь должны быть извозчики.

– Благодарим вас. Тут есть за углом ихняя стоянка.

Это было странное шествие: офицер, слегка согнувшийся под горбатой арфой, рядом с ним худенькая девушка в шляпке с искусственным цветком, торчащим из-под платка.

Она шагала неловко, широко, стараясь попадать в ногу. Арфа была легче, чем думал Мусоргский. Он почти не чувствовал ее за спиной. Он слышал шелест снега по струнам, точно выросло за ним звенящее крыло.

Девушка молчала. В мелькании снега тонкое лицо, потуманенное паром, казалось Мусоргскому ликом темноглазого видения.

Его тронуло, как попутчица, идя с ним в ногу, по-детски размахивает рукой в нитяной перчатке.

За углом, согнувшись в три погибели к хвосту побелевшей лошади, дремал привыкший ко всем непогодам ванька. Он полупроснулся, когда его позвал седок, и откинул медвежью полость, сваливши с нее снег.

От вьюги Мусоргский и девушка пригибались за тощую спину извозчика. Арфу они поставили в сани перед собой.

– Вам куда? – спросил Мусоргский спутницу.

– Да пусть на Подьяческой на углу остановится.

Она смотрела перед собой, думая о чем-то, и тонконосое лицо, очерченное беловатым, косо бегущим снегом, было замкнутым, суровым. Обе руки она сунула, согреть, на грудь шубки, под узел платка.

– Вы, стало быть, арфянка, певица?

Девушка молча кивнула головой. Он знал, что по питерским трактирам, ресторациям второго разряда ходят уличные певицы с арфами. В остроносой девушке, обмотанной платком, в ее шляпке с поникшим тряпичным цветком было что-то трогательное и смешное. Мусоргский с улыбкой сказал:

– Вы, может быть, вспомните все же, что пели в «Неаполе» перед тем, как выйти на улицу...

– Как выйти на улицу, – повторила она. – Не помню. Всякое пела. Романсы разные, как полагается.

– А вот это не помните?

Он стал глухо напевать, но получилось что-то фальшивое, мертвое.

– Нет, не то... Ну, а какие романсы вы пели? Девушка удивленно покосилась на него:

– Не помню. «Ах, обними меня» или «Поцелуй горячей».

– Но это же вздор, вы не то пели...

– Почему вздор, чего пристали? Что полагается, то и пела. Не помню.

Она обиделась. Он понял, что ничего не узнает.

– Извините меня.

Арфа, залепленная снегом, качалась перед ними с дребезжанием.

– А как же так, вы, певица, а вашей арфы не бережете?

– Чего?

– Арфа, говорю, мокнет, хотя бы чехол.

– А, эта, – и злобно усмехнулась. – Чего ей делается, железной... Пускай мокнет.

Она вдруг высвободила из-под платка руку, быстро стянула зубами перчатку и ударила с силой по струнам:

– У-у, шкелет, – сказала с ненавистью девушка. Арфа зазвенела так гулко, что возница обернулся, с шапки посыпало снег.

Мусоргский молча подал девушке упавшую перчатку, перчатке еще не остыла теплота ее руки. Она молчала всю дорогу. Наконец девушка, взглядываясь в несущийся снег, сказала:

– Тут остановите, теперь я сама дойду...

Она вышла из саней, отряхнула с шубки снег и потянула к себе арфу:

– Благодарим вас, господин военный.

– Нет, ради Бога, – забеспокоился Мусоргский, – позвольте, я донесу арфу.

– Не надо, говорю, сама дойду.

Но он уже перекинул ремень арфы за плечо:

– Пойдемте, куда вам надо?

– Как хотите, – сумрачно согласилась она. – Несите, когда хотите, номер шестнадцать.

Улица была темной от падающего снега и от того, что метель погасила редкие фонари. Мусоргский слышал быстрое дыхание спутницы.

– А вы, поди, в полиции служите, – насмешливо и дерзко сказала она вдруг. Мусоргский удивился:

– Почему в полиции? Нет, я офицер.

– Офицер, – недоверчиво повторила она. – Сразу видать, из полиции.

– Но откуда вы знаете полицейских?

Девушка только усмехнулась презрительно.

Из подворотни вышел человек в хорошей шубе и лисьей шапке:

– Аннушке-сударушке наше почтение с кисточкой, заждались, аж санки снегом занесло, сказывали, будете в шесть...

Арфянка оживилась, заговорила криливо:

– Да я с хозяином в «Неаполе» разбилась, вот и опоздала... Ей-Богу, перейду петь в трактир на Мещанскую.

– А как же со мной в «Самарканд»? Обещались.

Арфянка рассмеялась:

– Я обещания держу, не то что вы-с...

С долговязым в лисьей шубе она говорила весело, как со своим.

Долговязый, по виду гостинодворский приказчик или купец, с удивлением посмотрел на офицера, стоявшего с арфой, начал снимать шапку.

– Это так, ничего, – с холодным равнодушием сказала арфянка. – Господин военный пособил мне музыку довести... Покорно благодарим.

Когда сани отъехали, Мусоргский послушал озябший и неприятный смех арфянки в метели. Он остался у ворот один. Снег шумел.

Мусоргскому было немного обидно на странное, жалкое существо из другого мира, на эту уличную девушку.

Он еще постоял у ворот, потом пошел.

На неизвестной улице с погасшими фонарями он снова услышал высокий гул вьюги, и ему вспомнилась грозная песня. Только теперь пела она невнятно и глубоко, в нем самом.

Песня

Крошечная прихожая, дверь из которой открыта в обе комнаты, показалась сегодня Мусоргскому особенно уютной.

Денщик перед уходом хорошо вытопил печь, всюду стояло ровное, приятное тепло.

В кабинете он зажег лампу под синим колпаком, подвинул газеты на рабочем столе, раскрыл книгу, нотные тетради.

Часы из приданого матери, французского ветхого ампира, с колонками красного дерева и потемневшим бронзовым амуром со свирелью, стучали кротко, как прелестная старушка, с палочкой вышедшая на прогулку.

Он надел мягкие сапожки истертой зеленой кожи, накинул поверх сатиновой вишневой рубахи светлую шинель легкого сукна с красными погончиками, еще школы гвардейских прапорщиков, – шинель служила теперь халатом, – и лег на кожаный диван у печки. Уголья тлели, в тихом шевелении огня был кроткий домашний мир.

Ему стало так хорошо и спокойно, потому что он, наконец, откроется Лизе, напишет ей все. Но ни встать, ни писать не хотелось. Что-то иное утешало его. Он вспомнил арфанку, полудевочку с худыми плечами, в мещанской шубке, ее смешную шляпку под снегом, с какой угрюмой злобой дернула она струны арфы, как с них посыпался снег.

– И правда, железный скелет, – сказал он вслух, садясь на диван.

Темноглазое тонкое лицо уличной девушки снова напомнило кого-то. Это от ее песни так хорошо. Ее голос пел в метели, и арфа звенела, как арфа небесная.

Он стал ходить по кабинету, совершенно бесшумный в татарских сапожках. Какая удивительная песня. Ее гармонический ход, звучащий смысл он слышал и теперь, мелодия, оказывается, все время поет в нем. Потому-то так необыкновенно хороша сегодня его комната, где столько исхожено, столько передумано.

В углу – старое пианино, на нем – груды потрепанных нот, партитур, старая круглая миниатюра матери, а над пианино – большой образ древнего письма, почерневший, с едва заметным каленым ликом архангела или серафима, кому он иногда молился.

Молиться он стыдился, но по детской привычке неожиданно для себя, с всклокоченной головой, в той же летней шинели бормотал ночью после работы перед черной иконой «Царю Небесный Утешителю». Молитва была лучшее, чему научила его мать.

А за пианино громоздилось нечто вроде кладовой. Там были навалены, как у старьевщика, газеты, книги, пыльные офицерские сапоги, палаши времен Екатерины, понравившийся на толкучке, промятый кивер двенадцатого года, трубка с чубуком, какую он пробовал курить, пыльная гитара.

Он все ходил по кабинету, точно опасаясь подойти к столу. Он хотел записать мелодию, услышанную в метели, но знал, что будет трудно.

Над столом он начал перелистывать рукописи. Ему всегда неловко было просматривать их. Все куда беднее, грубее, что слышалось ему, что он желал записать.

Его записи были, как морские звезды, выброшенные на песок, погасшие серо, мертво. Вот его скерцо В-dur. Когда-то он был уверен, что этот ничтожный пустяк – совершенство. А его Si-moll давно следовало разорвать: какая бедность, какая тоска. Ничего не удастся ему. Если бы он мог записать, заставить жить и звучать то, что слышал сегодня, во вьюге, вот это могло бы быть первым настоящим, что Бог дал услышать ему.

– Господи, помоги мне! – он внезапно перекрестился на черный образ, сел к столу.

Мусоргский стал писать.

Нотные закорючки, кружки, как тоненькие человечки, устремленные вперед, волнистые линии мчались из-под его руки по нотной тетради, точно летела над ней, подсакивая, легкая птица.

Он скомкал исписанный листок, бросил под стол, снова начал ходить. В сумраке светились его глаза. Он мучительно и невнятно мычал с крепко зажатым ртом. Мелодия не давалась.

Потом он накрылся пледом с головой, лег, отвернувшись к спинке дивана. Могло казаться, что на диване лежит отчаявшийся человек, а пальцы все отстукивали такт.

В самую глубокую ночь, когда во всем доме настала тишина, Мусоргский, волоча за собой дырявый шотландский плед, сел к пианино. Он начал играть торжественный напев, что-то похожее на церковную панихиду, тут же со злобой захлопнул крышку.

Он опять ходил, невнятно мыча, точно глухонемой, который хочет заговорить. Потом, кутаясь в плед, он сидел, всклокоченный и суровый, с осунувшимся лицом.

Над ним в звучной тишине часы у верхнего жильца предостерегающе пробили пять. Амур со свирелью тоже прозвенел тоненько, как всегда, с опозданием.

Над головой слышались ровные, неторопливые шаги. Верхний жилец не спал. Сколько раз было так, что Мусоргский будил верхнего жильца внезапной ночной музыкой, пением, глухой возней работы, но неизвестный человек никогда не постучал ему сверху, никогда не пожаловался. Или там живет глухонемой?

Мусоргский нагнулся, поднял из-под стола скомканные листки. Все было совершенно не то, что он слышал и желал записать. Лампа уже мигала. Он задул ее. В окне серел зимний рассвет.

Ему и не надо было возиться ночь. Он сыщет завтра эту арфянку, и она споет ему.

Так, в кресле, Мусоргский и заснул.

За полдень его разбудил вежливым покашливанием денщик Анисим.

Все было убрано, комнаты выметены, и в печке светло шумел огонь. Денщик заботливо накрыл его одеялом, подложил под голову подушку, и Мусоргский, пригревшись, не хотел теперь шевельнуться.

Он следил за денщиком, осторожно бродившим по комнатам. Когда Анисим работал, он снимал солдатский мундир и оставался в ситцевой рубахе с крапинками, подпоясанной ремешком.

Мусоргский всегда любовался его чистотой, мягкой осторожностью и опрятностью. На военной службе Анисим стал глохнуть. Как все глухие, он был удивительно легкий в движениях, кроток и молчалив.

Мусоргский жалел своего денщика и обычно отпускал его в полк на весь день после утренней уборки, и еще давал мелочь на табак. Что-то милое, теплое и чистое было даже в запахе деревенской рубахи Анисима.

Денщик принес на подносе намытый до блеска кофейник и чашку.

– Извольте откушать, ваше благородие, – сказал он тихо. – С самого огня. Как почивали?

– Спасибо, хорошо, – нарочно громче ответил Мусоргский. – Который час?

Труднее всего было с Анисимом повышать голос, это утомляло и стесняло.

– Да час уже третий, – солдат тихо улыбнулся. – Скоро сызнава темнеть будет.

Мусоргский хорошо знал об Анисиме, что он вологодский, что у них в деревне все такие рослые, и берут в гвардию, что у его отца богато пашенья, коней, пчел и пятеро сынов, он, Анисим, пятый, а пошел в рекруты по охоте, за старшого, женатого.

Особое товарищество, простое и заботливое, сложилось между молодым офицером и его вестовым.

– Надо бы вставать, ваше благородие, – повторил Анисим.

– Да, сейчас.

Но ни двигаться, ни откидывать одеяла не хотелось. Он только потянулся сладко, всем телом, так, что косточки похрустели. Анисим отлично сварил кофе, как хорошо, сизовато дымится чашка, как хорошо лег у окна багряный квадрат морозного солнца. Как хорошо все, и еще вся жизнь перед ним, такая же теплая, сладостная, бесконечная.

Приглатывая горячий кофе, Мусоргский стал обдумывать, как найти вчерашнюю певицу.

Историю с мелодией надо довести до конца. Конечно, это вздор, будто ему послышалась в метели небесная мелодия. Так вот для него, эдакого милостивого государя в подбитой ветром шинельке, и побеспокоятся там, наверху, в потемках, с небесными арфами. Но пела арфянка правда, что-то любопытное, не слышанное никогда, и напев должно записать непременно. «Нумер шестнадцать», – он вспомнил, как она назвала номер дома на Подьяческой, а своему долговязому ухажеру сказала, что будет петь в трактире на Мещанской. Мусоргский решил пойти на Мещанскую.

Перед зеркалом он заметил, что все же довольно ладный, и золотые эполеты к лицу, особенно, когда натерты до блеска мелом.

– Анисим, ты свободен, голубчик, спасибо, – весело и громко сказал он вестовому, подавшему в прихожей шинель.

– Рад стараться, ваше благородие. Я тут еще приберу в столовой и уйду.

Столовой звалась у Мусоргского комната перед кабинетом, потому, вероятно, что там стоял у окна некрашенный стол и три венских стула, больше ничего, а кухня была в самой прихожей, в виде плиты, на которой красовался самовар, медный, помятый, купленный где-то для барина Анисимом.

Зимний вечер после метели выдался в Петербурге светлым и мягким.

Багряное солнце точно не хотело уходить, и в столбах морозного дыма верхние окна на Невском проспекте были полны холодного красного огня, а внизу, где снег уже синел, сновали прохожие, мчались туда и сюда охваченные паром экипажи.

Зажигались фонари, и в этом сочетании не уходящего солнца, синеватого снега и первых огней было и бодрое оживление, и какое-то нежное ожидание.

Все сильно дышало, спешило, сновало у освещенных окон магазинов, точно не желая расставаться со светлым зимним вечером: никогда не уйдет вечер, не будет больше двигаться время.

В переулке у Публичной библиотеки Мусоргский забежал в пирожную. У сонного пирожника в его чулане отменны были пирожки с мясом и грибами, мгновенно промасливавшие бумагу.

Мусоргский был уверен, что найдет певицу, и ему была приятна и немного смешна встреча. Он весело, как победитель, шагал в толпе. На белокурого офицера заглядывали модистки, перчаточницы, уже вышедшие из задних душных чуланов за магазинами. На Невском верхние окна потемнели, погасло за Адмиралтейством холодное лиловое облако. Заметно похолодело. Нет, время двигалось.

На Мещанскую Мусоргский пришел пешком. Вечерний морозец ободрил его, всю дорогу он что-то напевал и насвистывал.

Валил пар из окон прачечной на Мещанской, из подворотни извозчичьего двора, из дребезжащих стеклянных дверей трактира, откуда как раз выходило двое пьяных, вежливо поддерживая друг друга.

Теплый пар валил из портерной вместе с запахом жареной рыбы и пива, дымился паром другой трактир, напротив, с запотевшими окнами и вывеской «Питейное заведение, распивочно и навынос», а в конце улицы, с ее нетрезвой суетой, шумом, криками извозчиков, с разъезженным, почерневшим снегом, – как бы заканчивая эту убогую Содом и Гоморру, похожую чем-то на китайский грязный квартал, – виднелись прорезанные в жести, красно освещенные фонарем изнутри буквы «Торговые бани».

От бань на всю улицу шел теплый пар, был тут дрызг у трактирных дверей, пьяные потаскухи, разогретые вином и банным пеклом люди с дымящимися мокрыми вениками под мышками.

– А ну, малец, – остановил Мусоргский мальчишку-сапожника в обрывке зеленого фартука, в опорках, измазанного не то дратвой, не то ваксой, перебежавшего с огромным медным чайником улицу в трактир взять на две копейки кипятку для хозяина. – Ты мне толком скажи, в каком тут трактире поет нынче арфянка?

Мусоргский был уверен, что малец знает. Так и случилось. Парнишка сморгнул черным носом и показал пальцем через улицу.

– В Московском арфянка поет.

И не успел Мусоргский дать ему на гостинцы, как сапожный мастер без малого десяти лет уже бесстрашно занырял в тумане среди извозчичьих лошадей, матерно отругиваясь на ходу.

У ступенек трактира сквозь дребезжание Мусоргский услышал на мгновение звон арфы и женский голос, поющий ту песню, какую он слышал в метели.

Это было так внезапно, так страшно, что Мусоргский содрогнулся, и несчастная Мещанская улица с ее пьяным шумом ухнула куда-то. Настала грозная тишина.

Но через минуту уличное кипение с его баннным паром влилось в Мусоргского снова.

Ночь

В протабаченной зале трактира, куда вошел Мусоргский, горели под сводами лампы. Они слегка покачивались.

Из-за столов, заставленных пивными бутылками, на офицера посмотрели удивленно и подозрительно.

Человек, ошалевший от водки, с лысеющей курчавой головой, навывкате мутные глаза, блестя слюнявые губы, вдруг поднялся и пошел навстречу Мусоргскому.

– Во, их благородие пожаловали...

Человека за полы пальтишка оттащили на венский стул, назад, он ничуть не обиделся.

Арфянка пела в кабацкой мгле, в жадном и влажном гуле нетрезвых голосов.

Еще с порога он узнал ее. И она узнала его, слегка сверкнул ее глаз. Она запела старательнее, она явно позировала для него. Ее арфа и шарманочный немецкий романс звучали грубо и скучно.

Он сел за стол у самых дверей, все было липкое, отвратительное, нечистое, на столе небранные осколки бутылочного стекла, по ногам сильно дуло. Лампа под широким папочным колпаком качалась над ним, от колпака ходил по потолку круг тени.

Трактирный половой, угрюмый человек с темным лицом и впалой грудью, исхудавший, чахоточный, с тяжелыми, как оглобли, руками в сухожилиях, подошел, вытер мокрой тряпкой стол и сказал с презрительной грубостью:

– Сюды благородные не ходят.

Мусоргский усмехнулся:

– Ничего, братец, не гони. Мне только два слова арфянке сказать.

– Арфянке?

Половой ослабил с угрюмым бесстыдством, показал лошадиные зубы:

– Понимаем.

И отошел в трактирный теплый туман.

Его вчерашняя спутница была сегодня в вязаной кофточке. Теперь он хорошо увидел, какая она длинноногая. Ее волосы раза два высверкнули под лампой, как красная медь.

Она стояла с арфой у стойки. Над стойкой висела клетка с птицей. Мусоргский видел, как птица бьется, кидается в клетке, вероятно, уставшая смертельно от звона, пения, смуты.

Трактирная певица, наконец, допела романс и подошла к его столу, оправляя кофточку, очень узкую, с мелкими стеклянными пуговицами от шеи до живота. Рукава кофточки были ей коротки, и руки торчали оттуда, как у девочки, переросшей прошлогоднее платье.

– Здравствуйте, капитан! – смело сказала она.

Ее близко поставленные глаза странно блистали. Садясь, она обдала его теплым запахом вина и, показалось, мяты. Кажется, она была не совсем трезва.

– Здравствуйте, мадемуазель! – сказал он с неожиданной для себя развязностью.

– Мамзель, – повторила арфянка, легонько сфыркнула.

Худыми, полудетскими руками она стала оправлять волосы, высоко поднимая к затылку обе руки.

Волосы были прекрасные, пышные, темно-рыжие, в отблесках, высоко зачесаны над ушами назад, точно их отдувал невидимый ветер. И это напомнило ему снова кого-то.

От того, что она подняла руки, под тесной кофточкой выкатилась чашами маленькая грудь, и во рту у Мусоргского стало сухо, что-то сладкое и беспощадное вдруг глубоко пошевелилось в нем. Он сказал развязно, чувствуя в звуке голоса, внезапно пригложшего, сухой, сладко-тягучий звук:

– Сегодня я у вас капитан, а вчера так вы меня, кажется, за околоточного надзирателя приняли.

Арфянка весело закивала головой:

– Верно, верно, приняла. Такая дура. Спасибо Василь Васильевич растолковал. Вы из самой гвардии Преображенной, настоящий офицер.

– Это вам Василь Васильевич где же, в «Самарканде» разъяснял?

Она рассмеялась, тронула его руку.

– Какой любопытный. Может, и в «Самарканде».

То же сладостное, беспощадное, точно отняло ему на мгновение дыхание.

Мусоргский провел рукой по лбу. Лоб был горяч и влажен. С брезгливым страхом он понял, что в развязной болтовне с арфянкой он подражал тому самому залихватскому долговязому приказчику, какой увез ее в «Самарканд».

– Я, собственно, к вам по делу, – сказал он смущенно и строго.

– Ну конечно, по делу, – повторила она со смешком и положила на стол обе руки, очень белые и слабые, какие бывают у рыжих. Красивы были ногти, продолговатые миндали. Она тронула рукав его шинели:

– Угостили бы сначала сладеньким.

– Сладеньким?

– Херецом. Здесь херец есть. Херец, – повторила она, придавая какой-то особый смысл этому слову, рассмеялась, блистая глазами.

– Как вас зовут? – сказал он, смущаясь.

– Меня? Анечкой.

Мрачный, как чума, половой поставил на стол с угрюмой дерзостью бутылку.

– Два рубли.

Мусоргский заплатил. Он никогда не пил вина, брезговал пьяными и с отвращением отпил глоток густой тошноватой жидкости, ожегшей рот.

Арфянка выпила стакан быстро, откинувши голову. Ее белая шея, очень нежная, изящная, была повязана черной бархатной ленточкой, на ленточке – помятое сердечко из дутого серебра, жалкое и трогательное. От крепкого вина выступили на ее глазах слезы. Она улыбнулась.

– Я правда к вам по делу, – повторил он строго, следя с удивлением, как она пьет. – Я хочу вас просить напеть мне вашу песню. Если напоете, я могу ее записать, вы понимаете, я могу записать ноты.

– Понимаем. Ноты.

– Вы могли бы поехать ко мне, взять арфу...

– Зачем же-с арфу?

Она усмехнулась со вчерашней холодной неприязнью:

– Пушай уж здесь остается арфа, чего таскать.

– Так вы согласны проехать ко мне?

Девушка, поднявши руки, поправила на затылке узел рыжих волос. От вина ее лицо стало бледнее, а рот увлажнился ярко. Она перегнулась через стол, обдала теплым дыханием. Теперь он видел, что у нее зеленоватые, глубокие глаза. Она улыбнулась ему нетрезво, отчего с каким-то презрительным бесстыдством раздвинулись яркие губы:

– Дашь пять целковых, поеду, – внезапно грубо сказала она шепотом.

От ее слов и особенно от того, как раздвинулся ее рот бесстыдной улыбкой, в нем замерло все сладко, страшно, и он, с пересохшим ртом, ответил тоже шепотом.

– Конечно дам, пожалуйста.

Когда они выходили из трактира, тот курчавый, ошалевший от водки, с выкаченными глазами, рассмеялся. Показалось молодому офицеру, что мутный гул трактира, вся Мещанская улица, криво прыгающая, чавкающая в тумане, потешаются над ним.

Они сели на извозчика. Арфянка озябла. Вскоре вино улетучилось, она заметно дрожала. Сегодня она была без оренбургского платка, но он узнал ее короткую шубку и нитяные перчатки с прорванными пальцами. А шляпка красовалась на ней маленькая, не по зиме, соломенная шляпка с загнутым краем и тряпичным трясущимся цветком.

– Послушайте меня, прошу вас, – сказал он тихо, чувствуя к ней сладостную жалость. – Право, я хочу только, чтобы вы спели мне все, что вы поете...

Он тоже дрожал, не только от холода, а от нестерпимой внутренней дрожи.

– Холодно как, – она вдруг прижалась щекой к его плечу, у рукава шинели, он невольно обнял ее за талию, почувствовал под шубкой ее мягкий бок и выше, над ним, тоненькое ребро.

И не мог удержать дрожи, говорил, стуча зубами:

– Правда, холодно как...

Сжимая тело, отдающееся его руке, он вдруг подумал, что везет к себе чужое, несчастное, уличное существо, чтобы утолить то беспощадное, темное, что сдавило его и уже не отпустит, как смерть, что он везет к себе эту рыжеволосую озябшую девушку, точно жертву.

С усилием он отнял отяжелевшую руку, отодвинулся.

– Вы чего? – равнодушно спросила арфянка. Она, кажется, задремала на его плече.

Под огромными воротами дома на Обводном, когда они выбрались из саней, Мусоргский заторопился.

Это был большой доходный дом с проходным двором, населенный беднотой, под воротами и на дворе встречалось немало жильцов. Мусоргский торопился от нестерпимого стыда. Он был уверен, что все смотрят на уличную девушку и все понимают, для чего он ведет ее к себе.

– У-у, как тепло, – сказала арфянка в его прихожей.

Мусоргский торопливо зажег лампу.

– И как чисто, – огляделась она, стягивая с руки по-детски, зубами, сначала одну, потом другую перчатку.

– Пройдите туда, в самый конец, – глухо сказал Мусоргский, чувствуя снова горячую сухость во рту. – Я сейчас...

Она, как была в шубке и шляпке, пошла в его кабинет.

– Постойте, дайте же вашу шубку.

Он помог ей. На ее белом затылке с высоко подобранным узелком красноватых волос была завязана кривым бантиком черная бархатная лента.

– Туда, – показал он ей на вторую комнату. Ее шубку и шляпку он повесил на вешалку.

Шубка была в инее, холодная, но изодранная и посекавшая шелковая подкладка еще хранила живое, необыкновенно легкое тепло ее тела. От шубки пахло чистым снегом, но и в нем почувдился ему тонкий, женственный запах греха.

Ему показалось, что Анисим натопил сегодня до духоты. Он подумал, что надо бы поставить самовар для арфянки, но не поставил, а нарочно возился в прихожей. Ему было тревожно пойти в последнюю комнату, где за прикрытой дверью ждала она. Она не подавала голоса, молчала, и это было самое страшное.

Лампу он почему-то оставил в первой комнате, на столе, пошел в кабинет без огня. «Крадучись, как убийца», – подумал он.

Когда он открыл дверь, арфянка лежала на его кожаном диване у печки. Одна нога, освещенная красновато, была согнута в колене. Арфянка покоилась, как «Ночь» Микеланджело.

Она лениво обернула к нему тонкое, едва светившееся в потемках лицо, позвала равнодушно:

– Что же вы стали, идите...

И равнодушным и наивно бесстыдным движением потянула рукой юбку выше колен. Ее глаз перелился в полутьме, чуть кося.

Тьма, громадная, мощная, что-то бессмысленно-сладкое, беспощадное, содрогнулось в нем...

Позже он полусидел у дивана, на полу, Прижимаясь щекой к ее коленям, и дышал слышно и часто.

Девически целомудренным движением она оправила юбку и оттолкнула от колен его голову.

– Пустите, – сказала она с равнодушной неприязнью и тут же собрала в рот веером шпильки, стала закручивать над затылком волосы, потряхивая темно-рыжими прядями, как гривой.

Она выпрямилась. Огнем печки осветило ее башмаки.

Только теперь он увидел, какие у нее грубые, разношенные башмаки с кривыми каблучками, самые дешевые, с ушками, какие носят приютские сироты, тяжелые и недвижные башмаки, точно с ноги мертвеца. Ему нестерпимо стало жаль ее.

– Хоть бы лампу, что ли, зажгли, темень какая, – сказала она с досадой.

– Лампа там, рядом.

Голос глухой, вязкий показался ему чужим, отвратительным. И все, что случилось, что он так сидит на полу, что волосы у него влажные, все было отвратительным нестерпимо.

Брезгливо касаясь своего тела, он застегнул пуговики на вишневой сатиновой косоворотке, с отвращением посмотрел на свои большие руки. Беспощадная сила, тьма повалила, победила и вот сбросила на пол его тело, как груды гнусных лохмотьев. Он точно выдохся, точно навсегда стал одной бездыханной, бессмысленной плотью, куском тьмы. «Плоть, плоть», – скользило в нем это слово.

В соседней комнате, куда была открыта дверь, арфянка возилась у стола, над лампой.

Он поднялся. Уже в шубке и шляпке, глядя в осколок зеркала, она поправляла на шее черную бархатку.

– Вы уходите? – с трудом сказал Мусоргский.

Арфянка не обернулась, не ответила.

– Но как же вы уходите, – повторил он растерянно, со стыдом и отвращением к себе, чувствуя нестерпимую вину перед уличной девушкой.

– Давайте пять рублей, – сухо сказала она, протягивая руку.

– Пять рублей? Да, конечно, сейчас...

Он вынул из кошелька сложенную вчетверо кредитку. Арфянка быстро опустила ее за кофточку вместе с осколком своего зеркала.

– Могли бы хоть рубль прибавить, – сказала сумрачно. Не понимая толком, что она говорит, он смотрел на нее со страхом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.